

A detailed oil painting of Taras Shevchenko, showing him from the chest up. He has a thick, dark, curly wig and a long, grey beard and mustache. He is wearing a dark coat with a fur collar. The background is dark and indistinct.

*“...Самая скучная
и монотонная
история — самого
счастливого народа.”*

Тарас Шевченко

Тарас Шевченко

СОКРОВЕННЫЕ МЫСЛИ

РУССКИЙ ДНЕВНИК КОБЗАРЯ

Тарас Григорьевич Шевченко

Сокровенные мысли.

Русский дневник кобзаря

Серия «Кто мы?»»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67939527

*Сокровенные мысли. Русский дневник кобзаря / Т.Г. Шевченко: Родина;
Москва; 2022*

ISBN 978-5-00180-632-5

Аннотация

«Сказал нам русский царь: для русских не нужны заботы гражданина, я думаю за вас! Мой ум вас сторожит от чуждых нападений, от внутреннего зла... Отечество вам – флаг над гордыми дворцами, Россия – это я», – эти строки приводит в своем дневнике Тарас Григорьевич Шевченко (1814–1861), классик русской и украинской литературы, «кобзарь» (народный певец-сказитель), как его называли после выхода знаменитого сборника стихов.

Тарас Шевченко стал символом украинской самостийности. Насколько это справедливо? Каким он был в действительности? На эти вопросы ответит дневник писателя – его сокровенные мысли. Кстати, он писал его по-русски. По-русски, и думал. Шевченко в последние годы стал фигурой, которая во многом

разъединяет русскую и украинскую культуру. А всё могло бы быть
наоборот...

Содержание

Предисловие	6
Т. Г. Шевченко	16
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Тарас Шевченко
Сокровенные мысли.
Русский дневник кобзаря

ИЗДАТЕЛЬСТВО

РОДИНА

© ООО «Издательство Родина», 2022

Предисловие

Спустя полтора века после смерти о нем продолжают славать легенды, его идеализируют и ненавидят. В советское время он слыл символом борьбы украинского народа за лучшую долю, против самодержавия и церкви – и обоснований для такой трактовки хватало. После образования суверенной Украины он стал символом этой страны, её языка, её культуры. Изображения Тараса Григорьевича Шевченко вошли в государственный протокол. Потом на Украине всё громче и агрессивнее заявлял о себе национализм, направленный, прежде всего, против России – и Шевченко стали трактовать как исконного врага москалей. Это отразилось и на его репутации в России: к сегоднешнему малороссу, потомку казаков, многие стали относиться чуть ли не как к врагу. Натяжки, спекуляции... Но как мало мы знаем о его истинной жизни!

Будет кой-какой мужчина

Тарас Григорьевич Шевченко родился семье крепостных крестьян, в селе Моринцы Звенигородского уезда тогдашней Киевской губернии. Их хозяином был Владимир Энгельгардт – племянник Григория Потёмкина, унаследовавший часть его колоссального состояния. Дед Тараса (считается,

что он прожил 115 лет!) рассказывал ему легенды и были о прошлом казачьего края, о сражениях гайдамаков. Всю жизнь поэт вспоминал старика с благодарностью и любовью. Тарас рано остался почти сиротой: его мать умерла рано, не выдержав непосильного труда. Отец быстро привел в дом мачеху, с которой отношения у Тараса не сложились.

Отцовское завещание звучало так: «Сыну Тарасу из моего хозяйства ничего не надо; он не будет кой-каким мужчиной; его будет или что-то очень хорошо, или большой лодырь, для его мое наследница или ничего не будет значит, или ничего не поможет».

Рисовальщик

Одно давало Тарасу надежду: талант рисовальщика, благодаря которому сын барина, Павел Энгельгардт произвел его в свои «казачки». Тарас должен был не только подавать стул знатному хозяину, но и услаждать его вкус зарисовками. Жили они в Вильне (ныне – Вильнюс). Энгельгардт отдал крепостного в ученики местному художнику.

А потом послал в Петербург, где Шевченко стал учеником художника Василия Ширяева, вместе с которым расписывал купол столичного Большого театра. На Шевченко обратил внимание другой живописец – Иван Сошенко, который познакомил талантливого крестьянского сына с корифеями русского искусства – Карлом Брюлловым и Алексеем

Венециановым, с поэтом Василием Жуковским. Они решили выкупить талантливого малоросса.

Цена свободы

Энгельгардт – человек скупой и расчетливый – почувствовал, что в его руках крупный бриллиант и потребовал за Шевченко огромную по тем временам сумму – 2500 рублей. На эти деньги можно было купить целое поместье. Что ж? Брюллов написал портрет Жуковского, а последний, будучи придворным поэтом и воспитателем наследника престола, устроил благотворительную лотерею (нечто вроде аукциона) в Аничковом дворце. Портрет купила императрица Александра Федоровна – как раз за 2500. Шевченко стал свободным человеком! Это случилось 22 апреля 1838 года. Тарас Григорьевич честно рассказал об этом в автобиографической повести «Художник».

Песни кобзаря

Он поступил в Академию художеств, учился у Брюллова. Прославился, помимо прочего, портретами Александра Суворова и иллюстрациями к популярнейшей книге Николая Полевого, посвященной жизни великого полководца. Но постепенно всё более важной для него становилась литература.

Рисовальщик слагал стихи и писал рассказы.

Немалый успех принесла Шевченко поэтическая книга «Кобзарь», вышедшая в свет в 1840 году – собрание песен из репертуара бродячего музыканта. Сахарозаводчик Платон Симиренко через 20 лет помог поэту переиздать сборник, без преувеличений, ставший культовым. В книгу вошли 233 стихотворения на украинском языке и два – на русском. С тех пор и самого Шевченко часто стали называть кобзарем.

Мятежное братство

Тарас Григорьевич мог наслаждаться благополучием, будучи салонным художником, поэтом и новеллистом. Но мятежный дух брал свое. Познакомившись с историком Николаем Костомаровым, Шевченко вступил в Кирилло-Мефодиевское братство – тайную политическую организацию. Ее целью была отмена крепостного права и создание славянских республик на руинах Российской империи. Они мечтали и об освобождении Украины – наследницы запорожских казаков. Взгляды Шевченко и Костомарова совпадали далеко не во всем. Историк, как и большинство украинцев, был приверженцем церкви.

Тарас Григорьевич недолюбливал священников, а церковь считал институтом, который, как и самодержавие, только подавляет людей. Он писал вольнолюбивые стихи – резкие, непричесанные, как будто созданные под хмельком. В одной

из своих кобзарь едко и грубовато высмеял императорскую чету. В том числе – Александру Федоровну. Причем, сделал акцент на ее физических недостатках. Когда, по доносу одного студента, на след кирилло-мефодьевцев вышла полиция, рукопись под названием «Сон» нашли у многих участников братства.

Под строжайший надзор

Этого Николай I простить не мог – тем более, он знал, какую роль его супруга сыграла в выкупе художника... Шевченко арестовали. На допросе он признал «неблагопристойность своих безумных сочинений». Но его не простили, направили рядовым в Оренбургский отдельный корпус. Император в гневе лично приписал на решении своих жандармов: «Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать».

Знаменитый поэт и художник стал солдатом – в Орской крепости, располагавшейся посреди тоскливой пустыни. Офицеры относились к нему по-разному. Некоторые старались ввести столичную знаменитость в свой круг, другие угнетали «мужика-вольнодумца». Одно бесспорно: для Шевченко это были годы неволи и страданий. Лишь изредка, в нарушение приказа, ему разрешали рисовать. А стихи слагались в воображении. «Солдатчина» продолжалась десять лет.

Академик и герой

Только после смерти Николая I ему позволили вернуться к своим свободным занятиям. Ходатайствовали за Шевченко многие – в том числе вице-президент академии художеств Фёдор Толстой. Собратья по искусству высоко ценили его как художника. В 1859 году Шевченко даже присудили статус академика по гравированию.

Любопытно, что стихи он почти всегда писал по-украински, а прозу, в том числе дневник – по-русски. Поденные записи он вел почти всю жизнь – и поразительно, что, после всех жизненных неурядиц, Тарас Григорьевич оставался жизнелюбом и не желал зла своим гонителям. Разве что в редкие минуты ярости... Но сколько он зафиксировал темных подробностей о человеческой подлости! Офицер украл у солдата десять рублей и солдата же отдали под суд... А другой пропил девичью кофту, недошитую кофту своей невесты... Из таких сюжетов во многом состоит его проза.

Как умру, похороните

Он любил друзей, любил застолье. Говорят, что Шевченко раньше времени постарел не только из-за подневольной «солдатчины», но из-за чрезмерной любви к хмельным воз-

лияниям.

Под конец жизни создал одно из главных своих произведений – «Букварь южнорусский», который для многих стал учебником украинского языка. Правда, вскоре его запретила цензура. Среди его последних замыслов – учебники на украинском языке. Художники обычно изображают Кобзаря «дедом», а умер он в 47 лет. Его похоронили в Петербурге, на Смоленском кладбище. Но не прошло и два месяца – и друзья вспомнили его самое известное стихотворение, «Завещание»:

Как умру, похороните
На Украине милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.

И Кобзаря перезахоронили на родине, на Чернечьей горе, возле города Канева. Там действительно шумит Днепр.

Идеология Шевченко

Кем же был Тарас Григорьевич Шевченко по убеждениям? Безусловно, его увлекали картины свободного и боевого

прошлого Украины – а точнее, Запорожской Сечи. Он писал:

Было время – на Украине
В пляску шло и горе...
Да, жилось когда-то славно!

Поэт воспевал подвиги казаков и гетманов. Для Шевченко казак – это вольный человек, который не желал терпеть гнет, кабалу, издевательство со стороны помещиков-крепостников и иноземных эксплуататоров, бежал из-под ненавистного ига, зная, что идет на жизнь, полную величайших трудностей и лишений. Но шёл на риск ради свободы. Как не любоваться такими людьми? Максим Горький, говоря о Шевченко, заметил: «В его жалобах на личную судьбу – слышна жалоба всей Малороссии, в его воспоминаниях о казацкой воле – вы чувствуете воспоминания всего народа».

Добавим, что Шевченко не любил ни самодержавия, ни помещичьего гнета, ни церковной системы – и получится образ почти революционный.

Что касается отношения к «москалям» – Шевченко иногда мог сгоряча написать о том, как одиноко ему среди них, чужих по духу. Но это обыкновенная тоска по родине. Будем помнить, что большую часть жизни он прожил на чужбине – и не всегда по собственной воле. А развитие украинской культуры, украинской самобытности для него было важным.

Легенда, которая не разъединяет

После смерти сегоусый украинский поэт стал легендой. Песни на его стихи звучали в многих губерниях, память о тяжелой судьбине талантливого крепостного сохранялась в литературном мире. Шевченко уважали социалисты – в том числе Владимир Ленин. Они воспринимали его как украинского Некрасова, борца с крепостничеством.

В советское время он стал каноническим классиком. Памятники Шевченко возвышались в десятках городов – в Москве, Киеве, Харькове, Аьма-Ате... Вышел замечательный фильм о поэте, в котором роль Шевченко вдохновенно сыграл молодой Сергей Бондарчук. Корней Чуковский писал о творчестве Шевченко: «Украинский язык, такой журчащий, щебечущий, как будто созданный для нежных, любовных речей: ясочка моя ласочка моя, зиронька ясная! – стал у Шевченка еще нежнее и ласковее, ибо воистину Шевченко самый нежный и ласковый изо всех во всем мире поэтов».

Он стал мифом. Его возвеличивали, прежде всего, как основоположника украинского литературного языка. Так ли это? Некоторые специалисты считают, что поэт Иван Котляревский еще до Шевченко писал по-украински точнее и ярче. Но стихи Шевченко стали народными – без натуги, а такое в поэзии удается единицам.

Для кого-то Шевченко – символ украинской «самостийности». Но разве можно отделить его от России, от Петербурга, где так ценили его талант? Если попытаться объективно осмыслить судьбу Кобзаря – мы увидим, что он – часть нашей общей истории, великой и бунтарской. Противоречивой, как и судьба поэта.

А эта книга – главная для тех, кто хочет понять Шевченко. В ней он предельно откровенен – быть может, как никто из классиков литературы того времени. Повторю еще раз: он писал ее по-русски. По-видимому, по-русски и думал. Не скрывал ни своих слабостей, ни жалоб. Постарайтесь вчитаться в эти строки – и вы узнаете, каким он был, Тарас Шевченко.

Арсений Замостьянов

Т. Г. Шевченко

Сокровенные мысли

1857 июня 12. Первое замечательное происшествие, которое я вношу в мои записки, суть следующее. Обрезывая сию первую тетрадь для помянутых записок, я сломал перочинный нож. Происшествие, по-видимому ничтожное и не заслуживающее того внимания, которое я ему оказываю, внося его как что-то необыкновенное в сию пеструю книгу. Случись этот казус в столице или даже в порядочном губернском городе, то, натурально, он не попал бы в мою памятную книгу. Но это случилось в Киргизской степи, т. е. в Новопетровском укреплении, где подобная вещь для грамотного человека, как, например, я, дорого стоит; а главное, что не всегда ее можно достать и даже за порядочные деньги. Если вам удастся растолковать свою нужду армянину-маркитанту, который имеет сообщение с Астраханью, то вы все-таки не ближе как через месяц – летом, а зимой – через пять месяцев получите прескверный перочинный ножик и, разумеется, не дешевле монеты, т. е. рубля серебром. А случается и так, и весьма часто, что, вместо ожидаемой вами с нетерпением вещи, он вас попотчует или московской бязью, или куском верблюжьего сукна, или, наконец, кислым, как он говорит, дамским чихирем. [1] А на вопрос ваш, почему

он вам не привез именно то, что вам нужно, он вам пренаивно ответит, – что мы люди коммерческие, люди неграмотные, всего не упомнишь. Что вы ему [скажете] на такой резонный довод? Ругнете его, – он усмехнется, а вы все-таки без ножа останетесь. Теперь понятно, почему в Новопетровском укреплении утрата перочинного ножа – событие, заслуживающее бытописания. Но бог с ним – и с укреплением, и с ножом, и с маркитантом, скоро, даст бог, вырвуся я из этой безграничной тюрьмы. И тогда подобное происшествие не будет иметь места в моем журнале.

13 июня. Сегодня уже второй день, как сшил я себе и аккуратно обрезал тетрадь для того, чтобы записывать, что со мною и около меня случится. Теперь еще только девятый час, утро прошло, как обыкновенно, без всякого замечательного происшествия, – увидим, чем кончится вечер? А пока совершенно нечего записать. А писать охота страшная. И перья есть очиненные. По милости ротного писаря я еще не чувствую своей утраты. А писать все-таки не о чем. А сатана так и шепчет на ухо – Пиши, что ни попало, ври, сколько душе угодно. Кто тебя станет поверять. И в шканечных журналах [2] врут, а в таком домашнем, – и бог велел.

Если бы я свой журнал готовил для печати, то, чего доброго, – пожалуй, и искусил бы лукавый враг истины, но я, как сказал поэт наш,

Пишу не для мгновенной славы,
Для развлечения, для забавы,—
Для милых искренних друзей.
Для памяти минувших дней. [3]

Мне следовало бы начать свой журнал со времени посвящения моего в солдатский сан, сиречь с 1847 года. Теперь бы это была претолстая и прескучная тетрадь. Вспоминая эти прошедшие грустные десять лет, я сердечно радуюсь, что мне не пришла тогда благая мысль обзавестись записной тетрадью. Что бы я записывал в ней? [4] Правда, в продолжение этих десяти лет я видел даром то, что не всякому и за деньги удастся видеть. Но как я смотрел на все это? Как арестант смотрит из тюремного решетчатого окна на веселый свадебный поезд. Одно воспоминание о прошедшем и виденном в продолжение этого времени приводит меня в трепет. А что же было бы, если бы я записал эту мрачную декорацию и бездушных грубых лицедеев, с которыми мне привелось разыгрывать эту мрачную, монотонную десятилетнюю драму? Мимо, пройдем мимо, минувшее мое, моя коварная память. Не возмутим сердца любящего друга недостойным воспоминанием, забудем и простим темных мучителей наших, как простил милосердный человеколюбец своих жестоких распинателей. Обратимся к светлому и тихому, как наш украинский осенний вечер, и запишем все виденное и слышанное и все, что сердце продиктует.

От второго мая получил я письмо из Петербурга от Ми-

хаила Лазаревского с приложением 75 рублей. [5] Он извещает меня или, лучше, поздравляет с свободой. До сих пор, однакож, нет ничего из корпусного штаба, и я в ожидании распоряжений помянутого штаба, собираю сведения о волжском пароходстве. Сюда приезжают иногда астраханские флотские офицеры (крейсера от рыбной экспедиции). Но это такие невежды и брехуны, что я, при всем моем желании, не могу до сих пор составить никакого понятия о волжском пароходстве. В статистических сведениях я не имею надобности, но мне хочется знать, как часто отходит пароход из Астрахани в Нижний Новгород и какая цена местам для пассажиров. Но увы! при всем моем старании я узнал только, что места разные и цена разная, а пароходы из Астрахани в Нижний ходят очень часто. Не правда ли – точные сведения?

Несмотря, однакож, на эти точные сведения, я уже успел (разумеется в воображении) устроить свое путешествие по Волге уютно, спокойно и – глазное – дешево. Пароход буксирует (одно единственное верное сведение) несколько барок, или, как их называют, подчалок, до Нижнего Новгорода с разным грузом. На одной из таких барок я думаю устроить свою временную квартиру и пролежать в ней до нижегородского дилижанса. Потом в Москву. А из Москвы, помолившись богу за Фультонову душу, через 22 часа и в Питер. [6] Не правда ли, яркая фантазия? Но на сегодня довольно.

Нынешний вечер ознаменован прибытием парохода из Астрахани. Но как событие сие совершилось довольно позд-

но, в девятом часу, то до следующего утра я не получу от него никаких известий. Важного ничего я и не ожидаю от астраханской почты. Вся переписка моя идет через Гурьев городок. [7] А через Астрахань я весьма редко получаю письма. Следовательно, мне от парохода ждать нечего. Не вздумает [ли] Батко кошовый Кухаренко написать мне? [8] То-то бы одолжил меня старый черноморец. Замечательное явление между людьми этот истинно благородный человек. С 1847 года, по распоряжению высшего начальства, все друзья мои должны были прекратить со мною всякое сношение. Кухаренко не знал о таком распоряжении. Но так [же] не знал и о моем местопребывании. И, будучи в Москве во время коронации {Александра II (26 августа 1856 года) депутатом от своего войска, познакомился со стариком [М. С.] Щепкиным [9] и от него узнал о месте моего заключения. И, благороднейший друг! написал мне самое искреннее, самое душевное письмо. Через девять лет и не забыть друга и еще в несчастий друга. Это – редкое явление между себялюбивыми людьми. С этим же письмом по случаю, как он пишет, по случаю получения им Станислава первой степени, прислал он мне, на поздравку, 25 рублей серебром. Для семейного и небогатого человека большая жертва. И я не знаю, чем и когда я ему воздам за эту искреннюю, нелицемерную жертву.

По случаю этого дружеского неожиданного приветствия я расположил было мое путешествие таким образом: через Кизляр и Ставрополь проехать в Екатеринодар прямо к Ку-

харенку. Насмотревшись досыта на его благородное выразительное лицо, я думал проехать через Крым, Харьков, Полтаву, Киев – в Минск, Несвиж и, наконец, в село Чирковичи и, обняв своего друга и товарища по заключению Бронислава Залеского, [10] через Вильно проехать в Петербург. План этот изменило письмо М. Лазаревского от 2 мая. Из письма этого я увидел, что мне, нигде не останавливаясь, нужно поспешить в Академию художеств и облобызать руки и ноги графини Настасий Ивановны Толстой и ее великодушного супруга, графа Федора Петровича. [11] Они – единственные виновники моего избавления, им первый поклон. Независимо от благодарности, этого требует простая вежливость. Вот главная причина, почему я, вместо ухарской тройки, выбрал тридцатидневное монотонное плавание по матушке по Волге. Но состоится ли оно, – я этого еще наверное не знаю. Легко может статься, что я еще, в хламиде поругания {Т. е. солдатском обмундировании.} и с ранцем за плечами, попунтирую в Уральск в штаб батальона № 1; всего еще можно ожидать. И потому не следует давать слишком много воли своему неугомонному воображению. Но – утро вечера мудренее. Посмотрим, что завтра будет. Или, лучше сказать, что привезет гурьевская почта.

14 июня. Я что-то чересчур усердно и аккуратно взялся за свой журнал. Не знаю, долго ли продлится этот писательский жар? Как бы не сглазить. Если правду сказать, я не

вижу большой надобности в этой пунктуальной аккуратности. А так – от нечего делать. На бездельи и это рукоделье. Записному литератору или какому-нибудь поставщику фельетона – тому необходима эта бездушная аккуратность как упражнение, как его насущный хлеб. Как инструмент виртуозу, как кисть живописцу, так литератору необходимо ежедневное упражнение пера. Так делают и гениальные писатели, так делают и пачкуны. Гениальные писатели потому, что это их призвание. А пачкуны потому, что они иначе себя и не воображают, как гениальными писателями. А то бы они и пера в руки не брали.

Какое же казусное событие запишу я сегодня? А вот какое. Вчерашний пароход разрешился порядочным мешком целковых и арапчиков. [12] Это третное жалованье гарнизона. Офицеры сегодня же его и получили и сегодня же отнесли его Попову (маркитанту) и спиртомеру (целовальнику), [13] а остальное тоже отослали к спиртомеру и начали кутить или, вернее, пьянствовать. Завтра выдадут жалованье солдатам, и солдаты тоже начнут кутить, т. е. пьянствовать. И это продлится несколько дней сряду. И кончится как солдатская, так и офицерская попойка дракой и, наконец, курятником, т. е. гауптвахтой.

Солдаты – самое бедное, самое жалкое сословие в нашем православном отечестве. У него отнято все, чем только жизнь красна: семейство, родина, свобода, – одним словом, все. Ему простительно окунуть иногда свою сирую, одино-

кую душу в полштофе сивухи. Но офицеры, которым отдало всё, все человеческие права и привилегии, чем же они разнятся от бедняка солдата? (Я говорю о Новопетровском гарнизоне) Ничем они, бедные, не разнятся, кроме мундира. И добро бы еще были так называемые старые Бурбоны. А то ведь юноши и воспитанники кадетских корпусов. Хорошо должно быть воспитание? Бесчеловечное воспитание. Зато дешевое, а главное, скорое. Восемнадцатилетний юноша, уж он офицер. Восторг и загляденье матери и опора дряхлого отца. Жалкая мать и глупый отец.

Кажется, казак Луганский написал книгу под заглавием Солдатские досуги. Заглавие ложное. У русского солдата досуга не имеется. А если же солдат и встречается с ним иногда, то непременно в кабаке. Какая же, спрашивается, была цель прославленного сочинителя писать подобные досуги? И что нравственного в подобных досугах, если они написаны с натуры (я книги не читал); а если же это просто сочинение, т. е. фантазия, то опять — какая цель подобной фантазии? А не лучше ли бы сделал почтеннейший автор сих ненужных фантастических досугов, если б напирал истинные досуги линейных, армейских и даже гвардейских молодых офицеров? Этим он оказал бы величайшую услугу чадолюбивым и эполетолубивым родителям. [14]

15 [июня]. Что же я сегодня занесу в свой журнал? Совершенно нечего занести. А ни-ни, ничего хоть сколько-нибудь

выходящего из круга обыденной монотонной жизни. Сегодня поутру начал я рисовать портрет г. Бажанова, черным и белым карандашом, в киргизской кибитке на огороде. Прекрасное освещение – и я с охотой принялся за работу. Чорт принес приятельницу, [15] помешала. Я закрыл портфель и вышел из кибитки. Скромная приятельница не утерпела, взглянула одним глазком на мою работу и нашла решительное сходство, если бы рот и нос поменьше. И, не удовольствовавшись собственным замечанием, спросила мнения у горничной и у своего фаворита Молчалина [16] Это меня решительно взбесило, и я, не простившись, ушел в укрепление. В укреплении видел пьяную официю, т. е. офицера и выслушал историю о том, как вчерашнего числа раскроил лоб чубуком тесть своему будущему зятю Ч[арцу] тоже по случаю жалованья. [17] Солдатам выдавали жалованье. Мне тоже выдали. Я передал его своему, еще трезвому, дядьке и велел ему сшить из подкладочного холста торбу для дороги. Потом зашел к Мостовскому, выслушал в другой раз историю (с некоторыми прибавлениями) о будущем тесте и зяте, выпил рюмку водки и возвратился на огород. [18] Обедал, после обеда, по доброму обычаю предков, заснул часика два, и тем кончилось 15 число июня. О вечере совершенно нечего написать.

16 [июня]. Сегодня воскресенье. Я ночевал на огороде. Поутру был в укреплении. Дождь (весьма редкое явление)

помешал мне возвратиться на огород, и я остался обедать у Мостовского. Мостовский один единственный человек во всем гарнизоне, которого я люблю и уважаю. Человек не сплетня, не верхогляд, человек аккуратный, положительный и в высокой степени благородный. Говорит плохо по-русски, но русский язык знает лучше воспитанников Неплюевского корпуса. [19] Во время восстания поляков в 1830 году служил он в артиллерии бывшей польской армии и из военнопленных зачислен был рядовым в русскую службу. Я много от него слышал чрезвычайно интересных подробностей о революции 1830 года. Достоин замечания то, что поляк рассказывает о собственных подвигах и неудачах без малейших украшений: редкая черта в военном человеке, тем более – в поляке. Одним словом, Мостовский – человек, с которым можно жить, несмотря на сухость и прозаичность его характера. [20]

Сегодня же милейшая миледи М. [21] сообщила мне, – впрочем не по секрету, – со всеми подробностями, историю о побоище, происшедшем между будущим тестем и будущим зятем. Из этой истории можно бы выкроить водевиль, разумеется, водевиль для здешней публики. Назвать его можно свадебный подарок или не дошитая кофта. Дело вот в чем. [22] Жених в прошедшем месяце отправился в Астрахань купить свадебные подарки для своей невесты. Для этой милой необходимости взял он у своего будущего тестя, такого же голыша, как и сам, последние крохи с тем, чтобы при

получении жалованья возвратить эти крохи. Хорошо. Жених возвращается из Астрахани и отдает унтер-офицерше Петровой сшить для своей невесты ситцевое платье и коленкоровую кофту. Хорошо. Унтер-офицерша шьет, а, между тем получается на гарнизон жалованье. Но, увы! несчастному жениху выдают на руки всего-навсего два с полтиной, а все остальное удержано в батальоне по его же собственным распискам. Но герой, как ни в чем не бывало, посылает своего верного раба Григория к спиртомеру за четвертью полугару и с торжествующей физиономией, сопровождаемый Григорием с четвертью в руках, отправляется к будущему тестю. Начинается поздравка с получением жалованья. Но, увы! и на старуху бывает проруха. Бедный жених слишком увлекся будущим счастьем и в жару мечтаний проговорился, что он получил жалованья всего-навсего только два с полтиной. Разочарованный будущий тесть тоже в жару негодования хватил своего милого зятя чубуком по лбу, да так хватил ловко, что кровь полилась с благородного чела. Но чтобы не показать соседям, что между ими вышло контро, они принялись вдвоем бить собаку. Бедная собака! Но этим дело не кончилось. Догадливый раненый герой бежит к портнихе. Но, увы! платье уже отдано невесте, осталась только недошитая кофта; он отбирает у портнихи этот неоконченный предмет и закладывает жидку-солдату за две чары водки. Премиленький и назидательный мог бы выкроиться водевильчик. И это гнусное происшествие, не выходящее из круга обыкно-

венных происшествий в Новопетровском укреплении. И я в этом омуте, среди этого нравственного безобразия, седьмой год уже кончаю. Страшно! Теперь, когда уже узнали о моем освобождении, то ближайшие мои начальники – фельдфебель и ротный командир, не увольняя меня от ученья и караула, позволили мне свободные часы от службы проводить на огороде, за что я им сердечно благодарен. На огороде или в саду, летняя резиденция нашей комендантши, и все свободное время теперь я провожу в ее семействе; у нее двое маленьких детей, Наташенька и Наденька, и это единственный мой отдых и рассеяние в этом отвратительном захолустье. [23]

17 [июня]. Сегодня, в четвертом часу утра, пришел я на огород. Утро было тихое, прекрасное. Иволги и ласточки нарушали, изредка только, сонную и сладкую тишину утра. С некоторого времени, с тех пор как мне позволено уединяться, я чрезвычайно полюбил уединение. Милое уединение. Ничего не может быть в жизни слаще, очаровательнее уединения. Особенно перед лицом улыбающейся, цветущей красавицы-матери Природы. Под ее сладким волшебным обаянием человек невольно погружается сам в себя и видит бога на земле, как говорит поэт. [24] Я и прежде не любил шумной деятельности, или, лучше сказать, шумного безделья. Но после десятилетней казарменной жизни уединение мне кажется настоящим раем. [25] А я все-таки не могу ни за что

приняться. Ни малейшей охоты к труду. Сажу или лежу молча по целым часам под моею любимую вербою, и хоть бы насмех что-нибудь шевельнулось в воображении. Таки совершенно ничего. Настоящий застой. И это томительное состояние началось у меня с 7 апреля, т. е. со дня получения письма от М. Лазаревского. [26] Свобода и дорога меня совершенно поглотили. Спасибо еще Кулишу, что догадался прислать книг, а то я не знал бы, что с собою делать. [27] В особенности благодарен я ему за Записки Южной Руси. Я эту книгу скоро наизусть буду читать. Она мне так живо, так волшебным живо напомнила мою прекрасную бедную Украину, что я как будто с живыми беседую с ее слипыми лирниками и кобзарями. Прекраснейший, благороднейший труд. Бриллиант в современной исторической литературе. Пошли тебе господи, друже мой искренний, силу, любовь и терпение продолжать эту неоцененную книгу. Прочитавши в первый раз эту алмазную книгу, я дерзнул было делать замечания, но когда прочитал в другой и в третий раз, то увидел, что заметки мои – заметки пьяного человека и ничего больше. Кроме Субботова, т. е. насчет места бывшего дома Богдана Хмельницкого. [28] Но такое ничтожное пятнышко не должно быть замечаяемо на драгоценной ткани. Я обещал, начитавшись до отвалу этой книги, послать ее Кухаренку. И теперь жалею, что обещал. Во-первых, потому, что я ее никогда не начитаюсь до отвалу. А во-вторых, потому, что поля книги испачканы нелепыми замечаниями. Даст бог, я ему из

Петербурга вышла чистенький экземпляр. Вчерашний водевиль кончился, как и следовало ожидать, сегодня миром и гомерической попойкой с песельниками. Интересно знать, чем кончится свадьба. Вероятно дракой.



«Тарас Шевченко – пастух».

Художник И. С. Ижакевич.

Тарас Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии третьим ребёнком в семье крепостных крестьян. Вначале мать, а потом отец Тараса умерли от тяжелого труда на барщине, и он был вынужден с малых лет зарабатывать себе на жизнь: служил прислугой, пас общественную отару в селе. На шестнадцатом году жизни он попал в число прислу-

ги помещика П.В. Энгельгардта – сначала в роли поварёнка, затем слуги-«казачка».

Чувствуя большую тягу к живописи и поэзии, Шевченко познакомился с элементарными приёмами рисования у маляров, а грамоте выучился у сельского дьячка; позже Энгельгардт отправил его на обучение к профессиональным художникам, желая сделать из Шевченко своего «придворного живописца».

18 [июня]. Сегодня я, как и вчера, точно также рано пришел на огород. Долго лежал под вербою, слушал иволгу и, наконец, заснул. Видел во сне межигорского спаса Дзвонковую криницу и потом Выдубецкий монастырь. [29] А потом – Петербург и свою милую Академию. С недавнего времени мне начали грезиться во сне знакомые, давно невиданные предметы. Скоро ли увижу все это я наяву? Сновидение имело на меня прекрасное влияние в продолжение всего дня. А тем более, что сегодня гурьевскую, т. е. оренбургскую, почту ожидали. К вечеру действительно почта пришла, но ни мне, ни обо мне ничего не привезла. Опять я спустил нос на квинту. Опять тоска и бесконечное ожидание. Неужели от 16 апреля до сих пор не могли сделать в корпусном штабе насчет меня распоряжения? [30] Холодные равнодушные Тираны! Вечером возвратился я в укрепление. И получил приказание от фельдфебеля готовиться к смотру. Это результат давно ожидаемой почты и с таким трепетом ожидаемой Свобо-

ды. Тяжело, невыразимо тяжело! Я одурею, наконец, от этого бесконечного ожидания.

Как быстро и горячо исполняется приказание арестовать. Так, напротив, вяло и холодно исполняется приказание освободить. А воля одного и того же лица. Исполнители одни и те же. Отчего же эта разница? В 1847 году, в этом же месяце, меня на седьмые сутки доставили из Петербурга в Оренбург. [31] А теперь дай бог на седьмой месяц получить от какого-нибудь баталионного командира приказание отобрать от меня казенные вещи и прекратить содержание. Форма. Но я не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы.

19 [июня]. Вчера ушел пароход в Гурьев и привезет оттуда вторую роту и самого баталионного командира. [32] А по случаю прибытия сюда этой важной особы остающаяся здесь рота, к которой принадлежу и я, готовится к смотру. Для этого важного грядущего события мне сегодня пригоняли аммуницию. Какое гнусное грядущее событие. Какая бесконечная и отвратительная эта пригонка аммуниции. Неужели и это еще не в последний раз меня выведут на площадь, как бессловесное животное, напоказ? Позор и унижение! Трудно, тяжело, невозможно заглушить в себе человеческое достоинство, стать на вытяжку, слушать команды и двигаться как бездушная машина. И это единственный опытом дознанный способ убивать разом тысячу себе подобных. Гениальное изобретение! Делающее честь и христианству и просве-

щению. Странно, что даже благоразумные люди, как, например, наш лекарь Никольский, любят посмотреть, как вытягивает носок посиневший от напряжения человек. Не понимаю этого нечеловеческого наслаждения. А наш почтенный Гиппократ, несмотря на зной и холод, целые часы просиживает у калитки и любит унижением себе подобного. Палач ты, как видно, по призванию и только по названию лекарь. [33]

В детстве, сколько я помню, меня не занимали солдаты, как это обыкновенно бывает с детьми. Когда же я начал приходить в возраст разумения вещей, во мне зародилась неодолимая антипатия к христолюбивому воинству. Антипатия усиливалась по мере столкновения моего с людьми сего христолюбивого звания. Не знаю, случай ли или оно так есть в самой вещи, только мне не удалось, даже в гвардии, встретить порядочного человека в мундире. Если трезвый, то непременно невежда и хвастунишка. Если же хоть с малой искрою разума и света, то также хвастунишка и, вдобавок, пьяница, мот и распутник. Естественно, что антипатия моя возросла до отвращения. И нужно же было коварной судьбе моей так ядовито злобно посмеяться надо мною, толкнув меня в самый вонючий осадок этого христолюбивого сословия. Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать, как сослав меня в Отдельный Оренбургский корпус солдатом. Вот где причина моих невыразимых страданий. И ко всему этому мне еще запрещено рисовать. Отнять благороднейшую часть моего бедно-

го существования! Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного нечеловеческого приговора. А бездушные исполнители приговора исполнили его с возмутительной точностью.

Август-язычник, ссылая Назона к диким Гетам, не запретил ему писать и рисовать. [34] А христианин N [Николай] запретил, мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин? и христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло огромное государство в мире, выросло на началах христовой заповеди. Флорентийская республика – полудикая, исступленная средневековая христианка, но все таки как материальная христианка она поступила с своим строптивым гражданином Дантом Альгиери. [35] Боже меня сохрани от всякого сравнения себя с этими великомучениками и светочами человечества. Я только сравниваю материального грубого язычника и полуозаренную средневековую христианку с христианином девятнадцатого века.

Не знаю наверное, чему я обязан, что меня в продолжение десяти лет не возвели даже в чин унтер-офицера. Упорной ли антипатии, которую я питаю к сему привилегированному сословию, или своему невозмутимому хохлацкому упрямству? И тому и другому, кажется. В незабвенный день объявления мне конфирмации я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не сделали. Я не только глубоко, даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема. И это льстит моему самолюбию. Ребячество и ничего больше.

Майор Мешков, [36] желая задеть меня за живое, сказал однажды мне, что я, когда буду офицером, то не буду уметь в порядочную гостиную войти, если не выучусь как следует бравому солдату, вытягивать носка. Меня, однакож, это не задело за живое. И бравый солдат мне казался менее осла похожим на человека. Почему я и [в] мысли боялся быть похожим на brave солдата.

Вторая и не менее важная причина моего неповышения. Бездушному Сатрапу и наперстнику царя пригрезилось, что я освобожден от крепостного состояния и воспитан на счет царя, и в знак благодарности нарисовал карикатуру своего благодетеля. Так пускай, дескать, казнится неблагодарный. Откуда эта нелепая басня – не знаю. Знаю только, что она мне недешево обошлась. Надо думать, что басня эта сплелась на конфирмации, где в заключении приговора сказано: строжайше запретить писать и рисовать. Писать запрещено за возмутительные стихи на малороссийском языке. А рисовать и сам верховный судия не знает, за что запрещено. А просвещенный блюститель царских повелений непоясненное в приговоре сам пояснил, да и прихлопнул меня своим бездушным всемогуществом. Холодное развращенное сердце. И этот гнилой старый развратник пользуется здесь славою щедрого и великодушного благодетеля края. Как близоуки или, лучше сказать, как подлы эти гнусные славельщики. Сатрап грабит вверенный ему край и дарит своим распутным прелестницам десятитысячные фермуары, а они про-

славляют его щедрость и благодеяния. Мерзавцы! [37]

20 [июня]. Сегодня рота придет в Гурьев, а по случаю полноводия в Урале она пройдет прямо на Стрелецкую Косу и сегодня же сядет на пароход. Завтра рано пароход подымет якорь и послезавтра высадит роту в Новопетровской гавани. Держись, наша официя! Гроза, гроза ужасная близится. Батальонный командир, подобно тучегонителю Крониону, грядет на тебя во облаче мрачне, в том числе и на нас бессловесных. В ожидании сего грозного судьи и карателя пропившиеся до снаги {До последней возможности.} блажат и умоляют эскулапа выдумать и форменно засвидетельствовать их небывалые немощи душевные и телесные, и паче душевные, и тем спасти их от праведного суда громоносного Крониона. Но мрачный эскулап неумолим. И только нашего брата-солдата, также пропившегося до снаги и не имеющего в чем явиться пред лицо отца-командира, Никольский кладет на койки и прописывает слабительное. Непопулярный эскулап наш намерен сделаться популярным коновалом. Сегодня не без видимого удовольствия сказал смотритель полугоспиталя, что на его попечение, т. е. продовольствие, прибыло семнадцать жильцов. Следовательно, рубль семь гривен в продолжение суток в кармане, не считая отопления и освещения. Не здесь ли скрывается причина великодушия нашего эскулапа? Шепнуть разве Нагаеву [38] и другим, чающим и не могущим вымолить защиты у жестокосердого эскулапа.

К добру ли это я так сегодня расфантазировался? В прежние годы, в эти истинно критические дни, со мною этого не было. Не было однакоже и того, не в похвалу будь сказано, чтобы я прятался под кровом стонов и вздыханий. В этом случае я никогда не искал медицинского пособия. С трепетным замиранием сердца я всегда фабрил усы, облачался в бронь и являлся пред хмельно-багровое лицо отца-командира сдать экзамен в пунктах, ружейных приемах и, в заключение, выслушать глупейшее и длиннейшее наставление о том, как должен вести себя бравый солдат и за что он обязан любить бога, царя и своих ближайших начальников, начиная с дядьки и капрального ефрейтора.

Смешно. Потому смешно, что я освоился с этим отвратительным спектаклем. Но каково было прежде, когда я не умел и должен был похоронить в самом себе всякое человеческое чувство, сделаться бездушным автоматом и слушать молча, не краснея и не бледнея, слушать нравственное наставление от грабителя и кровопийцы. Нет, тогда это не было смешно. Гнусно! Отвратительно! Дождусь ли я тех блаженных дней, когда из памяти моей испарится это нравственное безобразие? Не думаю. Потому что медленно и глубоко врезывалось в нее это безобразие.

Странно еще вот что. Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе. Опыт, говорят, есть лучший наш учитель. Но горький опыт прошел мимо

меня невидимкою. Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего всемогущего создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтями моих убеждений, моих младенчески-светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ. Но это следствие невозмутимо летящего старика Сатурна, [30] а никак не следствие горького опыта.

Получивши от Кухаренка письмо с приложением 25 рублей, значите приложением весьма вещественным, я отблагодарил его письмом же, со вложением собственного полиция, вторым письмом со вложением еще менее вещественным — со вложением небывалого рассказа мнимого варнака, под названием Москалева Криница. [40] Я написал его вскоре после получения письма от батька атамана кошевого. Стихи оказались почти одной доброты с прежними моими стихами. Немного упруже и отрывистее. Но это ничего, даст бог, вырвусь на свободу, и они у меня потекут плавнее, свободнее и проще и веселее. Дождусь ли я этой хромой волшебницы-свободы?

21 [июня].

Вперед, вперед, моя история,

У кого что болит, тот о том и говорит. Сегодня вечером, возвращаясь из огорода в укрепление вместе с комендантом [И. А. Усковым], он мне в сотый раз повторил со всевозможными подробностями историю о коварном друге своем, некоем полковнике [Илье Александровиче] Кире[е]вском. Полковник этот Кире[е]вский, как видно, птица высшего полета, а по словам коменданта, настоящий аристократ. А что он птица высокого полета, это я заключаю по тому, что он служил чиновником особых поручений при графе В. А. Перовском и был с ним в весьма близких отношениях. Следовательно, это не какая-нибудь шваль, а человек с достоинством. Потому что такой вельможа, как граф Перовский, какую-нибудь шваль к себе и в прихожую не допустит. А следующее дело показывает, что г. П[еровский] весьма неразборчив на своих приближенных и приближает к своей высокой персоне именно шваль. Да еще какую шваль? Самую грязную, кабашную шваль, прикрытую полковничьим мундиром и боо крепостных душ.

История такого содержания. Ираклий Александрович Усков (наш комендант), будучи хорошо знаком в Оренбурге с помянутым полковником и аристократом Кире[е]вским, просил его, когда он выехал в Петербург, – просил он его и лично, и письмом из Новопетровского укрепления, как в некотором роде химика и знатока фотографического дела, –

просил выслать ему из Петербурга камеру со всем необходимым для фотографии. Кире[е]вский изъявил (тоже письмом) самую обязательную готовность услужить другу и потребовал на эту услугу 350 рублей серебром. Деньги тотчас же были посланы (в сентябре прошлого года). Получено также весьма дружеское письмо о получении этой суммы, с означением месяца и даже числа, в которое непременно получится помянутая камера с прибором и со всеми необходимыми химическими солями. Тем все и кончилось. Благородный обязательный друг как в воду канул. Ираклий Александрович между бесконечными предположениями решил, что друг его отправился на пароходе Харона прогуляться в Елисейском парке. [42] Другой причины его молчания и подозревать нельзя. Но чтобы убедиться в этой непреложной истине, я написал, по просьбе Ираклия Александровича, в Петербург приятелю своему Марковичу, [43] чтобы он разведал и сообщил мне, что случилось с таким-то полковником Киреевским. От Марковича еще известия не получено. А из “Русского инвалида” видно, что обязательный друг мая 16 выехал из Петербурга в Москву. А из Оренбурга уведомляют коменданта, что полковник Кире[е]вский принят новым Генерал-Губернатором Катениным [44] тоже в чиновники по особым поручениям, но по домашним обстоятельствам подал в отставку. Из всего этого оказывается, что помещик 600-сот [sic] душ крестьян, аристократ, наперсник Г. П. [Перовского], наконец полковник Кире[е]вский подлец и

негоднейшая тряпка. [45]

Ираклий Александрович дает мне форменную доверенность получить обратно от Кире[е]вского эти деньги; я охотно готов услужить ему, если не удастся добром и миром, то, делать нечего, бесконечными стезями закона. Во всяком случае я буду очень рад, если удастся мне эта сомнительная операция.

Сегодняшним же числом мне хочется записать или, как зоологи выражаются, определить еще одно отвратительное насекомое. Но как бы не напачкать мой журнал этой негодной тварью до того, что и порядочному животному в нем места не останется. А впрочем ничего, это миниатюрное насекомое места немного требует. Это – двадцатилетний юноша. Сын Статского Советника Порциенка. Следовательно, тоже птица не низкого полета. [46]

25 [июня]. Только что успел я написать “следовательно тоже птица не мелкого полета”, как раздалось во всех концах огорода слово “пароход”. Я, разумеется, бросил свое писание и побежал в крепость. С пароходом я ожидал оренбургской почты, а с почтой и свободы. Вышло, однакож, совершенно противное тому, чего я ожидал. Пароход почты не привез, а следовательно и волшебного, очаровательного слова. А вместо одного слова привез дело в виде рыжей, весьма непривлекательной персоны, т. е. привез батальонного командира [Львова], первым делом которого было обегать казармы,

надавать зубочисток фельдфебелям и прочим нижним чинам, даже до прахвоса. [47] А ротным командирам и прочей официи, смотря по лицу и образу жизни, – приличное родительское наставление. И после этого нежного, грациозного вступления назначен был формальный смотр той несчастной роте, к которой и я имею несчастье принадлежать. Бедная рота всю ночь готовилась к этому истинно страшному суду и в пять часов утра, 23 июня, умытая, причесанная, нафабренная, выстроилась на полянке, точно игрушка, вырезанная из картона. От 5 и до 7 часов, в ожидании судии праведного, рота равнялась. В 7 часов явился, во всем своем грозном величии, сам судия. И испытывал или, лучше сказать, пытал ее, несчастную, ровно до 10 часов. В заключение спектакля спросил претензию, [48] ругнул в общих выражениях, посулил суды и розги и даже зеленую аллею, т. е. шпицрутены. [49] Для всех гроза прошла, а для меня она еще только собиралась. В числе прочих подтвержденных должен был и я предстать после обеда, в 5 часов, на вторичное, и еще горшее, испытание. К этому вторичному испытанию я готовился довольно равнодушно, как человек, вполнину свободный. Но когда предстал пред неумолимого экзаменатора, куда что девалось. Ниже малейшей тени, ничего похожего на человека, вполнину свободного, во мне не осталось. Та же самая мучительная, холодная дрожь пробежала по моему существу. То же самое, что и в прежние годы, чувство – нет, не чувство, а мертвое бесчувствие – охватило меня при взгляде

на эту деревянную выкрашенную фигуру. Одним словом, я превратился в ничто. Не знаю, на всех ли так сильно действует антипатия, как на меня? Экзамен повторился слово в слово, как и десять лет тому назад, четверти буквы ни прибавлено, ни убавлено. Зато и я а ни на йот не подвинулся на поприще военного просвещения. Упорство обоюдное и невозмутимое. По примеру прежних годов, экзаменатор и блюститель нравственности спросил нас по ранжиру, кто и за что удостоился нести сладкую сердцу обязанность солдата.

– Ты за что? – спросил он у первого.

– За утрату казенных денег, ваше высокоблагородие.

– Да, знаю: ты неосторожно загнул угол. Надеюсь, вперед не будешь гнуть углы, – сказал он насмешливо и оборотился к следующему.

– Ты за что?

– По воле родительницы, ваше высокоблагородие,

– Хорошо. Надеюсь, вперед не будешь и... – и обратился к следующему.

– Ты за что?

– За буйные поступки, ваше высокоблагородие.

– Хорошо. Надеюсь, вперед... и...

– Ты за что? – спросил он у следующего,

– По воле родителя, ваше высокоблагородие.

– Надеюсь... А ты за что? – спросил он, обращаясь ко мне.

– За сочинение возмутительных стихов, ваше высокоблагородие.

– Надеюсь, вперед не будешь...

– А ты за что? за что? – спросил он у последнего.

Последний отвечал, что тоже по воле родительницы, и, не выслушавши последнего, он обратился к нам сильную, назидательную речь, замкнувшуюся весьма новой истиной, что за богом молитва и за царем служба не пропадают.

В заключение церемонии спросил он у ротного Командира, почему Порциенко не явился на испытание. На что тот отвечал, что Порциенко болен, т. е. пьян, и находится под сохранением у свинопаса. Все эти подтвержденные, так называемые господа-дворяне, с которыми я теперь представлялся пред лицо отца-командира, все они – люди замечательные по своим нравственным качествам, но последний субъект, под названием Порциенко, всех их перещеголял. Все их отвратительные пороки вместил в своей подлой двадцатилетней особе. Странное и непонятное для меня явление этот отвратительный юноша. Где и когда успел он так глубоко заразиться всеми гнусными нравственными болезнями? Нет мерзости, низости, на которую бы он не был способен. Романы Сю, [50] с своими отвратительными героями, – пошлые куклы перед этим двадцатилетним извергом. И это сын статского советника, следовательно, нельзя предполагать, чтобы не было средств дать ему не какое-нибудь, а порядочное воспитание. И что же? Никакого. Хорош должен быть и статский советник. Да и вообще должны быть хороши отцы и матери, отдающие детей своих в солдаты на исправление.

И для чего, наконец, попечительное правительство наше берет на себя эту неудобоисполняемую обязанность? Оно своей неуместной опекой растлевает нравственность простого хорошего солдата и ничего больше. Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходимая Сибирь – вот место для этих безобразных животных, но никак не солдатские казармы, в которых и без их много всякой сволочи. А самое лучшее – предоставить их попечению нежных родителей. Пускай спотешается на старости лет своим собственным произведением. Разумеется, до первого криминального проступка, а потом отдавать прямо в руки палача.

До прибытия моего в Орскую крепость я и не воображал о существовании этих гнусных исчадий нашего православного общества. И первый этого разбора мерзавец меня поразил своим зловредным существованием. Особенно, когда мне сказали, что он тоже несчастный, такой же, как и я, разжалованный и, следовательно, мой товарищ по званию и по квартире, т. е. по казармам.

Слово “несчастный” имело для меня всегда трогательное значение, пока я его не услышал в Орской крепости. Там оно для меня опошлено, и я до сих пор не могу возвратить ему прежнего значения. Потому что я до сих пор вижу только мерзавцев под фирмою несчастных.

По распоряжению бывшего Генерал-Губернатора, довольно видного политика Обручева, [51] я имел случай просидеть под арестом в одном каземате с колодниками и даже

с клейменными каторжниками и нашел, что к этим заклея-
менным злодеям слово “несчастный” более к лицу, нежели
этим растленным сыновьям безличных эгоистов родителей.

26 [июня]. Два дня уже прошло, как выехал от нас отец-
командир наш, но я все еще не могу освободиться от тяжело-
го влияния, наведенного его коротким присутствием. Этот
отвратительный смотр так плотно притиснул мои блестящие
розовые предположения, так меня обескуражил, что, если бы
не Лазаревского письмо у меня в руках, то я бы совсем обес-
силел под гнетом этого тяжелого впечатления. Но слава богу,
что у меня есть этот неоцененный документ; значит, у меня
есть канва, по которой я могу выводить самые прихотливые,
самые затейливые арабески.

Надеждою живут ничтожные умы, сказал покойник Гёте.
[52] И покойный мудрец сказал истину вполовину. Надеж-
да свойственна и мелким, и крупным и даже самым матери-
альным положительным умам. Это наша самая нежная, по-
стоянная, до гробовой доски неизменная, нянька-любовни-
ца. Она, прекрасная, и всемогущего царя, и мирового муд-
реца, и бедного пахаря и меня, мизерного, постоянно леле-
ет доверчивое воображение и убаюкивает недоверчивый ум
своими волшебными сказками, в которые всякий из нас так
охотно верит. Я не говорю – безотчетно. Тот действительно
ничтожный ум, который верит, что на вербе вырастут груши.
Но почему же не верить мне, что я хоть к зиме, но непременно-

но буду в Петербурге, увижу милые моему сердцу лица, увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж, еще мною невиданный, [53] услышу волшебницу-оперу. О, как сладко, как невыразимо сладко верить в это прекрасное будущее. Я был бы равнодушный холодный атеист, есть ли бы не верил в этого прекрасного бога, в эту очаровательную надежду.

Материальное свое существование я предполагаю устроить как, разумеется, с помощью друзей моих. О живописи мне теперь и думать нечего. Это было бы похоже на веру, что на вербе вырастут груши. Я и прежде не был даже и посредственным живописцем, а теперь и подавно. Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного, кабашного, балалаешника. Следовательно, о живописи мне и думать нечего. А я думаю посвятить себя безраздельно гравюре акватинта. Для этого я полагаю ограничить свое материальное существование до крайней возможности и упорно заняться этим искусством. А в промежутке времени делать рисунки сепией с знаменитых произведений живописи, рисунки для будущих эстампов. Для этого я думаю, достаточно будет двух лет прилежного занятия. Потом уеду на дешевый хлеб в мою милую Малороссию и примусь за исполнение эстампов. И первым эстампом моим будет казарма, с картины Теньера. С картины, про которую говорил незабвенный учитель мой, великий Карл Брюллов, что можно приехать из Америки, чтобы взглянуть на это дивное произведение. Словам великого Брюллова, в

этом деле, можно верить. [54]

Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится гравюра. И не без основания. Быть хорошим гравёром значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит быть полезным людям и угодным богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравёра. Сколько изящнейших произведений доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца? Божественное призвание гравёра!

Кроме копий с мастерских произведений, я думаю со временем выпустить в свет, в гравюре акватинта и собственное чадо, притчу о блудном сыне, приноровленную к современным нравам купеческого сословия. Я разделил эту поучительную притчу на двенадцать рисунков; они уже почти все сделаны на бумаге. [55] Но над ними еще долго и прилежно нужно работать, чтобы привести их в состояние, в котором они могут быть переданы меди. Общая мысль довольно удачно приноровлена к грубому нашему купечеству. Но исполнение ее оказалось для меня не по силе. Нужна ловкая, меткая, верная, а главное – не каррикатурная, скорей драматический сарказм, нежели – насмешка. А для этого нужно прилежно поработать. И с людьми сведущими посоветоваться. Жаль, что покойник Федотов [56] не наткнулся на эту богатую идею, он бы из нее выработал изящнейшую сатиру в лицах для нашего темного полутатарского купечества.

Мне кажется, что для нашего времени и для нашего

среднего полуграмотного сословия необходима сатира, только сатира умная, благородная. Такая, например, как “Женях” {Т. е. “Приезд жениха”.} Федотова или “Свои люди – сочтемся” Островского и “Ревизор” Гоголя. Наше юное среднее общество, подобно ленивому школьнику, на складах остановилось и без понуканья учителя не хочет и не может перешагнуть через эту бестолковую тму, мну. На пороки и недостатки нашего высшего общества не стоит обращать внимания. Во-первых, по малочисленности этого общества, а во-вторых, по застарелости нравственных недугов, а застарелые болезни если и излечиваются, то только героическими средствами. Кроткий способ сатиры тут не действителен. Да и имеет ли какое-нибудь значение наше маленькое высшее общество в смысле национальности? Кажется, никакого. А средний класс – это огромная и, к несчастью, полуграмотная масса, это половина народа это сердце нашей национальности, ему-то и необходима теперь не суздальская лубочная притча о блудном сыне, а благородная, изящная и меткая сатира. Я считал бы себя счастливейшим в мире человеком, если бы удался мне так искренно, чистосердечно задуманный мой бессознательный негодяй, мой блудный сын.

Свежо предание, а верится с трудом. Мне здесь года два тому назад говорил Н. Данилевский, [57] человек стоящий веры, что будто бы комедия Островского “Свои люди – сочтемся” запрещена на сцене по просьбе московского купечества. Если это правда, то сатира, как нельзя более, достигла

своей цели. Но я не могу понять, что за расчет правительства покровительствовать невежеству и мошенничеству. Странная мера! [58]

27 [июня]. От купечества перехожу к офицерству. Переход не резкий, даже гармонический. Эта привилегированная каста также принадлежит среднему сословию. С тою только разницею, что купец вежливее офицера. Он офицера называет: “вы, ваше благородие”. А офицер его называет: “эй, ты, борода!” Их, однакож, нисколько не разъединяет это наружное разъединение, потому что они, по воспитанию, родные братья. Разница только та, что офицер Вольтерьянец, а купец – старовер. А в сущности одно и то же.

Сегодня к вечеру появились комары на огороде, и я, чтобы избавиться этих несносных насекомых, ушел на ночь в укрепление. Но увы! Неумолимая Немезида [59] преследует меня на каждом шагу. Избегая комаров, я наткнулся на шмелей. С подобающим почтением проходя мимо офицерского флигеля, я услышал новую для меня песню, начинающуюся так:

Коврики на коврики
И шатрики на шатрики.

Далее я ничего не мог расслышать, потому что певец слишком густо забасил и потому что пьяный Кампиньони,

инженерный офицер и отчаянный пьяница, 60 выбежал на площадь, не знаю для какой надобности, и, увидя меня, вздумал оказать мне небольшую услугу, покровительство, познано-мив меня с вновь прибывшими офицерами, с лихими ребятами, по его выражению. Для этого схватил он меня за рукав и потащил в коридор. Вновь прибывшие лихие ребята сидели и лежали в одних красных рубахах на разостланной кошме и перед ними красовалась полуведерная бутылка сивухи. Живая сцена из “Двумужницы”, князя Шаховского. [60] Я, чтобы не дополнить собою группы волжских разбойников, вырвался из объятий покровителя и выбежал на площадь. Покровитель выбежал за мною, закричал дежурного унтер-офицера по роте и велел взять меня на гауптвахту за лично нанесенную дерзость офицеру. Приказание офицера было исполнено в точности. После пробития зори дежурный по караулам доложил коменданту о вновь прибывшем арестанте и комендант сказал: “Пускай проспится”. Итак, я, избегая кровопийцев комаров, отдан был на терзание клопам и блохам. Как после этого не верить в предопределение?

Сегодня новый дежурный по караулам разъяснил темное происшествие коменданту, и я милостиво освобожден от беспощадных инквизиторов. Записывая в журнал эту весьма обыкновенную в моем положении трагическую, я в глубине души прощаю моих гонителей и только молю всемогущего бога избавить скорее от этих получеловеков.

Сегодня ожидают парохода с почтой из Гурьева. И никто

его не ожидает с таким трепетным нетерпением, как я. Что если не привезет он мне так долго ожидаемой свободы? Что я тогда буду делать? Придется во избежание гауптвахты с блохами и клопами знакомиться со вновь прибывшими офицерами и, в ожидании будущих благ, пьянствовать с ними. Мрачная, отвратительная перспектива! А если, паче чаяния, привезет эту ленивую колдунью свободу; о, какая радостная, какая светлая перспектива! Иду в укрепление и, на всякий случай, упакую в чував (торба) мою мизерию, авось либо и совершится.

28 [июня]. Совершилось, – только совершенно не то, чего я ожидал. А совершилась мерзость, которую нельзя было предполагать даже в совершителе ее, мерзавце Кампиньони. Пошел я вчера в укрепление, в ожидании парохода, паковать свою мизерию. И, как это обыкновенно бывает, когда человек ожидает чего-нибудь хорошего, то на этом хорошем и хорошие строит планы. Так и я, в ожидании вестника благодатной свободы, развернул ковер-самолет, и еще одна только минута – и я очутился бы на седьмом – Магометовом небе. Но не доходя укрепления, [встретился] мне посланный за мною вестовой от Коменданта [Ускова]. [61] “Не пришел ли пароход? – спрашиваю я у вестового”.

– “Никак нет”, – отвечает он. – “Какая же встретилась во мне надобность коменданту?” – спросил я сам себя и прибавил шаг. Прихожу. И комендант, вместо всякого привет-

ствия, молча подает мне какую-то бумагу. Я вздрогнул, принимая эту таинственную бумагу как несомненную вестницу свободы. Читаю и глазам не верю. Это рапорт на имя коменданта от поручика Кампиньони о том, что я в нетрезвом виде наделал ему дерзости матерными словами. В чем свидетельствуют и вновь прибывшие офицеры. И в заключение рапорта он просит и требует поступить со мной по всей строгости закона, т. е. немедленно произвести следствие. Я остолбенел, прочитав эту неожиданную мерзость.

– “Посоветуйте: что мне делать с этой гадиной?” – спросил я коменданта, придя в себя. – “Одно средство, – сказал он: – просите прощения или – по смыслу дисциплины – вы арестант. Вы имеете свидетелей, что вы были трезвы, а он имеет свидетелей, что вы его ругали”. – “Я приму присягу, что это неправда”, – сказал я. – “А он примет присягу, что правда. Он офицер, а вы все еще солдат”. У, как страшно отозвалось во мне это, почти забытое, слово. Делать нечего, спрятал гордость в карман, напялил мундир и отправился просить прощения. Простоял я в передней у мерзавца битых два часа. Наконец, он допустил меня к своей опохмелившейся особе. И после многих извинений, прощений, унижений даровано мне было прощение с условием сейчас же послать за четвертью водки. Я послал за водкой, а он пошел к коменданту за рапортом. Принесли водку, а он принес рапорт и привел своих благородных свидетелей. – Что, батюшка, – сказал один из них, подавая мне пухлую, дрожащую с похме-

ля руку, — вам неуютно было познакомиться с нами добровольно, как следует с благородными людьми, так мы вас заставили. — На эту краткую и поучительную речь уже пьяная компания захохотала, а я чуть не проговорил: “Мерзавцы! да еще и патентованные мерзавцы”.

29 [июня]. “Широкий битый шлях из раю, а в рай — узенька стежечка, та й та колючим терном поросла”, — говорила мне, еще ребенку, одна замиравшая старуха. И она говорила истину. Истину, смысл которой я теперь только вполне разгадал.

Пароход из Гурьева пришел сегодня и не принес мне совершенно ничего, даже письма. Писем, впрочем, я не ожидаю, потому что верные друзья мои давно уже не воображают меня в этой отвратительной конуре. О, мои искренние, мои верные друзья! Если б вы знали, что со мною делают, на расставании, десятилетние палачи мои, — вы бы не поверили, потому что я сам едва верю в эти гнусности. Мне самому это кажется продолжением десятилетнего отвратительного сна. И что значит эта остановка? Никак не могу себе ее растолковать. Мадам Эйгерт, [62] от 15 мая, из Оренбурга поздравляет меня с свободой, а свобода моя где-нибудь с дельцом-писарем в кабаке гуляет. И это верно. Верно потому, что ближайшие мои мучители смотрами, учениями, картами и пьянством прохлаждаются, а письменные дела ведает какой-нибудь писарь Петров, разжалованный в солдаты за мошенни-

чество. Так принято искони, и нарушить священный завет отцов из-за какого-то рядового Шевченка было бы противно и заповеди отцов и правилам военной службы.

На сердце страшная тоска, а я себя шуточками спотешаю! А все это делает со мною ветреница Надежда. Не вешаться же и в самом деле из-за какого-нибудь пьяницы отца-командира и достойного секретаря его.

Сегодня празднуется память величайших двух провозвестников любви и мира. {Апостолов Петра и Павла.} Великий в христианском мире праздник! А у нас – колоссальнейшее пьянство по случаю храмового праздника.

О, святые, великие верховные апостолы! Если б вы знали, как мы запачкали, как изуродовали провозглашенную вами простую, прекрасную, светлую истину! Вы предрекли лжеучителей – и ваше пророчество сбылось. Во имя святое, имя ваше, так называемые учителя вселенские подрались, как пьяные мужики, на Никейском вселенском соборе. {В 325 году.} Во имя ваше папы римские ворочали земным шаром и во имя ваше учредили инквизицию и ужасное автодафе. Во имя же ваше мы поклоняемся безобразным суздальским идолам и совершаем в честь вашу безобразнейшую бахиналию. Истина стара и, следовательно, должна быть понятна, вразумительна, а вашей истине, которой вы были крестными отцами, минает уже 1857 годочек. Удивительно, как тупо человечество!

30 [июня]. Чтобы придать более прелести моему уединению, я решился завестись медным чайничком. И эту мысль привел я в исполнение только вчера вечером, и то случайно. К тихому, прекрасному утру на огороде прибавить стакан чаю – мне казалось это роскошью позволительною. С самого начала весны меня преследует эта милая, непышная за-тея. Но я никак не мог привести ее в исполнение по неимению здесь в продаже такой затейливой вещицы. Только вчера вечером пошел я к Зигмонтовским (поверенный винной конторы и отставной чиновник 12 класса [63] и, проходя мимо кабака, увидел я оборванного, но трезвого денщика одного из вновь прибывших офицеров, с медным чайником в руке такой величины, какой мне нужно. “Не продаешь ли чайник?” – спросил я его. – “Продаю”, – отвечает он, – “Не хапанный ли?” – “Никак нет-с. Сами барин велели продать. Они думают самовар завести”. – “Хорошо, я спрошу. А что стоит?” – “Рубль серебра.” – “Полтину серебра”, – сказал я сколько мог хладнокровнее и пошел своей дорогой. Едва успел я сделать несколько шагов, как он догнал меня и без торгу вручил мне давно желанную посуду. А денщик, получивши полтину серебра, отправился прямо в кабак и через минуту вышел из него со штофом в руке и направился прямо к офицерским квартирам. “Тула и дорога!” подумал я. Проведя вечер в сообществе Телемона и Бавкиды (так я в шутку называю Зигмонтовских), по дороге зашел я к маркитанту, взял у него полфунта чаю, фунт сахару и сегодня, в 4 часа

утра, сибаритствую себе на огороде и вписываю в свой журнал происшествие вчерашнего вечера, благословляя судьбу, пославшую мне медный чайник.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.